

## ГЛАВА 2

### ПЕРВОБЫТНОЕ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРВОБЫТНЫХ ГРАММАТИКАХ: СИНКРЕТИЗМ И ПОВЕРХНОСТНОСТЬ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТЕПЕНИ ВОСПРИЯТИЯ

Если говорить о «самых первых» людях на Земле, о которых ученым известно очень мало, то по некоторым скудным данным об их способностях можно сказать следующее.

Согласно концепции А.Д. Кошелева, существенным показателем развития или неразвития мышления ребенка (логический взрыв в 4 года — см. предыдущую главу), антропоида и древнего человека является восприятие партитивности, то есть восприятие объектов состоящими из частей. Этот показатель особенно нагляден в орудийной деятельности. Из трех названных видов существ партитивности не достигают только антропоиды, оставаясь в когнитивном развитии на уровне трехлетнего, а в языковом отношении — двухлетнего ребенка (см. предыдущую главу). Они чаще всего не хранят ситуативно добытые или полученные от человека орудия, бросая их при отсутствии регулярной потребности. Древний человек, наш предок, конечно, достиг восприятия партитивности (на уровне ПВ), но далеко не сразу. Хорошо известно, что человек умелый (*Homo habilis*) не совершенствовал свои каменные орудия на протяжении десятков тысяч лет. «Более того, — замечает А.Д. Кошелев, — даже появление около 150 тыс. лет назад человека анатомически современного вида (*Homo sapiens sapiens*) не привело к резкому скачку в развитии орудийных технологий. Этот скачок произошел лишь около 50 тысяч лет назад». Появившиеся в это время, преимущественно костяные, предметы — рыболовные крючки (предполагающие привязывание их к «леске»), швейные (то есть с ушками) иглы, пуговицы (предполагающие фиксацию в петлях одежды), застежки (соединяющие части одежды) — являются классическими изобретениями, возможными только при партитивном восприятии объектов. По мнению А.Д. Кошелева, «креативный взрыв», произошедший около 50 000 лет назад и создавший современного человека, был вызван наступлением у неандертальца следующего этапа развития, соответствующего уровню ребенка 3–5 лет... В свете сказанного естественно полагать, что язык неандертальца был гораздо богаче языка двухлетнего ребенка и «говорящего» антропоида, но гораздо беднее полноценного человеческого языка, формирующегося у ребенка к 4–5 годам» [Кошелев 2008<sup>1</sup>: 216–218]. Язык неандертальца,

56

впрочем, как показывают исследования его гортани, был, скорее всего, не более чем жестовым [Иванов Вяч.Вс. 1978: 76–77] (в приведенных ниже, более ранних, размышлениях А.А. Леонтьева данное обстоятельство еще не учитывается).

По мнению А.А. Леонтьева, «суждения» неандертальца еще нельзя назвать силлогистическими, «правильнее будет их назвать чувственно-практическими», то есть, как и у ребенка, синкретично привязанными к чему-то близкому (ПВ), в данном случае — к практической деятельности. Как замечает А.А. Леонтьев, если неандерталец считал, что люди смертны, то имел в виду лишь тех, в смерти которых он имел опыт убедиться, но о том, что в будущем смертны те, кто сейчас живы, он сказать не мог [Леонтьев А.А. 1963: 120]. Опыт ориентирован только на прошлое и настоящее, поэтому не случайно: 1) грамматическое значение будущего времени является наиболее поздним в системе времен всех языков, являясь диахронической универсалией [Николаева 1990: 535]; 2) Аристотель считал, что открытый им логический закон исключенного третьего «следует ограничить одними высказываниями о прошлом и настоящем и не прилагать его к случайным высказываниям о будущем»; неприменимость этого закона к бесконечным множествам доказал голландский математик Л. Брауэр [Ивин 2004: 164–165]; Э. Косериу — вопреки современным идеям лингвопрогностики — полагает, что «будущее не является предметом познания, а предвидение — проблемой науки» [Косериу 1963: 305]; 3) бесконечность вширь (вперед в пространстве, в будущее во времени) признается человеком гораздо легче, чем бесконечность вглубь (назад в пространстве и времени) [Бурова 1987]. Нейрофизиологи в свою очередь предполагают, что правое полушарие человеческого мозга, характеризующееся гештальтностью и конкретностью восприятия и развивающееся раньше левого полушария (см. предыдущую часть), воспринимает события прошлого и настоящего, а развивающееся позже, характеризующееся аналитизмом и абстрактностью левое полушарие воспринимает события настоящего и будущего [Брагина, Доброхотова 1981: 145–190], что вполне объясняет показанные затруднения как с грамматическими показателями будущего времени в ходе развития языков, так и с научными представлениями о будущем, а также подчеркивает способность человека осознанно планировать будущее — благодаря работе в таком случае левого полушария — и отсутствие такой способности у животных. Относительно простое (чаще всего аналитическое) образование грамматических форм будущего времени в разных языках от форм настоящего времени, в отличие от своеобразного (далеко не всегда аналитического) образования форм прошедшего времени, коррелирует с предположением о на-

стоящем как базе для будущего в человеческом сознании: «Клинические наблюдения подсказывают, что будущее в сознании человека каким-то образом опосредуется, видимо, через настоящее. ...прошлое находится в обратной, а будущее — в прямой зависимости от настоящего времени: чем более оно актуально в сознании, тем более подавлено прошлое и тем более очерчено будущее» [Там же: 168–169, 172].

По мнению А.А. Леонтьева, предполагаемое у неандертальца осмысление действительности (заметим, что не только у неандертальца, но и у существовавшего параллельно кроманьонца, о чем в 1960-е годы еще не говорили) «косвенно свидетельствует о том, что у колыбели силлогистического мышления стоит мышление, которое можно назвать синпрактическим, то есть неразрывным с практикой» [Леонтьев А.А. 1963: 120]. Оно в полной мере отражает как биологические недостатки восприятия (и, как следствие, представлений) «неандертальца» (ПВ), так и его проблемы эпистемиологического свойства, то есть проблемы качества познания окружающей действительности, осуществляемого в основном при помощи правого полушария (СВ).

Прежде чем перейти к рассмотрению тех же характеристик у современных первобытных людей, которые, очевидно уже аксиоматически, считаются в культурном отношении менее развитыми, чем люди современные цивилизованные, обратимся к важному для нас положению, высказанному Л.С. Выготским. В результате наблюдений за афатиками ученый сформулировал безупречно логичный по своей сути нейробиологический закон: «...если внутри психомоторной сферы действие высшей инстанции становится слабым функционально, то самостоятельной становится ближайшая низшая инстанция с собственными примитивными законами» [Выготский 1984: 286]. Считаем не менее логичным вывести из этого закона предположение, что названное Л.С. Выготским «действие высшей инстанции» может не только ослабевать, но и по каким-то причинам не достигаться в ходе нормального в целом развития. И тогда люди остаются на более низкой стадии развития с соответствующими ей «примитивными законами». Это предположение, как мы покажем ниже, может быть применено к первобытным мышлению и грамматикам.

Представления о первобытных людях прошли определенный путь развития. Так, основоположник анимистического направления в этнографии Э. Тэйлор был настолько огорчен распространением и существованием вплоть до XIX века убежденности в том, что первобытные народы вначале были развитыми, как все остальные, а затем по каким-то причинам деградировали (ср. с показанной в части «Вместо введения» убежденностью Ф. Боппа и А. Шлейхера в том же, но в отношении язы-

ков), что в своем программном труде «Первобытная культура» посвятил целую главу доказыванию обратного [Тэйлор 1939: 15–42].

Следующим этапом постижения особенностей первобытного мышления была борьба с убеждением многих «цивилизованных» людей в умственной отсталости первобытных людей. А.А. Потебня метко называет такое убеждение «взглядом потомка, которому свой образ мысли, своя обстановка кажутся так естественны, что уровень мысли и обычая предков он готов считать (и действительно считает, как некоторые ученые — мифы) неправильным, болезненным отклонением от этой естественности» [Потебня 1968: 217]. В прогрессивной, антирасистской работе «Ум первобытного человека» известный антрополог, лингвист и естествоиспытатель Ф. Боас логично обосновывает некорректность провозглашения умственных способностей белых людей наиболее развитыми. Различия в уровнях социально-экономического развития человека современного и человека первобытного он объясняет чередой случайностей исторического развития [Боас 1926: 5–19]: благодаря различным — случайным — факторам разные этносы один и тот же путь проходят за разное время. Действительно, если, как полагает Л.Б. Вишняцкий в отношении человечества в целом, «наша состоявшаяся эволюционная история — это только один из многих потенциально существовавших ее сценариев, который, в отличие от других, не остался запасным лишь в силу во многом случайного стечения мало связанных между собой обстоятельств» [Вишняцкий 2004: 7], то есть разные человеческие виды, причем не только неандертальцы и сапиенсы, не сменяли один другой, а сосуществовали и даже конкурировали друг с другом на общем пространстве, но совершенно случайно выжили и в дальнейшем развились лишь сапиенсы, то логично допустить, что и внутри этого вида-победителя сосуществовали и сосуществуют его представители — по случайному стечению обстоятельств счастливики и неудачники, но с равными интеллектуальными возможностями. Отсутствие качественных различий между когнитивными способностями представителей разных этносов надежно подтверждается тем, что любой туземец, с момента рождения воспитываемый в британской, к примеру, среднего достатка семье, развивается в абстрактно мыслящую личность, а англичанин-маугли (конечно, не тот, выросший в волчьей стае, который в абсолютно неправдоподобно идеализированном виде представлен Р. Кипплингом) лишь внешне отличается от «воспитавших» его животных. Следовательно, первобытный человек отличается от современного человека лишь количеством опыта познания, а значит, вполне сопоставим на этом уровне с растущим в цивилизованной среде ребенком. Как замечает В.И. Абаев, имея в виду,

конечно, современных цивилизованных детей, «формирование сознания и речи у детей в «сгущенном» виде повторяет процесс формирования сознания и речи у первобытного человека» [Абаев 1993: 19]. В самом деле, не только простые обыватели, но и многие этнографы, некоторое время общавшиеся с представителями первобытных народов, единодушно отмечают инфантильность этих людей. Детские цивилизованные и как детские, так и взрослые первобытные представления весьма похожи. Например, если один цивилизованный ребенок случайно наступил на ногу другому такому же ребенку, у обоих возникает странное ритуальное стремление к тому, чтобы второй наступил первому на ногу в ответ, причем не в отместку, а «чтобы не поссориться» (впрочем, о том, что это делается с целью не поссориться, сейчас знают уже не все дети). Раньше дети ритуально-первобытно сцеплялись мизинцами, когда мирились, в один голос скандируя немудреный рифмованный силлогизм: «В мире, в мире навсегда кто поссорится — свинья. Ты свинья, и я свинья, — значит, вместе мы друзья». Сейчас чаще встречается подобное, насчет ссоры в узком смысле 'драки', рифмованное предложение, содержащее примитивную угрозу-предостережение: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться». В любом случае это примеры ПВ.

А.Н. Леонтьев детским первобытное сознание не называет, высказывается осторожно: «первобытное сознание имеет совсем другое внутреннее строение, чем наше, ...характеризуется еще недифференцированностью смыслов и значений» [Леонтьев А.Н. 1981: 316], но такая недифференцированность, как мы знаем, и означает синкретизм восприятия и представления, свойственный детям (СВ). Это наблюдение в целом подтверждается большинством этнографов и этнопсихологов.

Так, Э. Тэйлор приводит поистине огромное количество примеров самых разнообразных проявлений первобытной логики (вслед за Л.С. Выготским и А.Р. Лурией [Выготский, Лурия 1993: 73] мы не считаем первобытные проявления абсолютно нелогичными). Не имея возможности даже кратко пересказать все примеры Э. Тэйлора, дадим наиболее показательные. Рассказывая о трех древних обычаях — реакции на чихание, принесении человека в жертву при закладке здания и спасении утопающего из страха перед подводными духами (например, перед «водяным»), — объясняемых почитанием мистических сил, Э. Тэйлор демонстрирует их распространенность по всей планете у различных этносов, никак друг с другом не контактирующих. Реакция на чихание у разных народов может быть и позитивной, и негативной (здесь человеческая мысль предполагает действие духов и добрых, и злых). Но реакция мистических сил

на непринесение указанной жертвы (желательно с замуравыванием ее в фундамент) и на спасение утопающего считалась неизменно негативной [Тэйлор 1939: 56–63]. Это примеры ПВ.

Создатель теории психологического эволюционизма Г. Спенсер аргументированно доказывает, что почитание духов предков (с непременными жертвоприношениями) как первобытная форма религии было направлено прежде всего на предотвращение бедствий и ниспослание удачи (и вовсе не объясняется чувством уважения, как это себе представляют многие цивилизованные люди): «Дикие всегда приписывают и свое счастье, и свое несчастье вмешательству мертвецов, которых они прогневали, или сумели заслужить их милость; принося им в жертву пищу, питье и одежду, дикие обещают всегда действовать согласно желанию мертвецов и просят только о помощи» [Спенсер 2008: 4]. Первобытный человек, как ребенок, пытается объяснить всё непонятное чем угодно, но в первую очередь тем, что согласно перцептивному закону близости находится «под рукой». Например, если находящиеся рядом соплеменники не обрушивали эту тяжелую ветку на голову товарища (он воспринял бы это действие зрительно), то это сделали не люди, а духи; но духи в представлении такого человека еще не могут быть абстрактными, — следовательно, эти духи суть те люди, которые сейчас не могут быть рядом, то есть умершие. Это одно из случайно воспринимаемых «подручных» объяснений, демонстрирующих ПВ.

Дж.Дж. Фрэзер, автор фундаментального этнографического труда «Золотая ветвь», приводит никак не меньшее, чем у Э. Тэйлора, количество примеров первобытных представлений [Фрэзер 2003], которые тоже объясняются инфантильными проблемами восприятия и, как следствие, объяснения действительности. Некоторые из этого множества примеров мы покажем. Прежде всего продемонстрируем открытый автором очень показательный обычай, который он назвал «детской игрой в воображаемых персонажей». Например, когда женщина-даяк (остров Борнео) рожала, один шаман помогал ей непосредственно в хижине, а второй вне хижины с привязанным к животу камнем, изображающим плод в утробе матери, имитировал роды (ПВ). Дж.Дж. Фрэзер приводит множество примеров и других ритуальных имитаций: это как бы рождение ребенка заново при усыновлении (протаскивание ребенка под юбками приемной матери, наблюдаемое в том числе в ситуации усыновления Геракла Герой по просьбе Зевса); как бы рождение человека заново после того, как его преждевременно сочли умершим и совершили по нему погребальные обряды (для рождения заново у древних индусов требовалось сидение в локхани, наполненной смесью жира и воды); как бы «проведение курса лече-

ния не на больном, а на самом враче» (врач может притвориться больным и даже мертвым, а потом вновь оказаться живым и здоровым — больной, глядя на это и как бы «примеряя эту ситуацию на себя», выздоравливает) [Фрэзер 2003: 22–24] (ПВ).

Знаменитый этнолог, социолог и культуролог К. Леви-Стросс, побывавший в 30-е годы прошлого века с экспедициями в бассейне Амазонки, пишет об инфантильной непосредственности изучаемых им амазонских индейцев намбиквара: «Однажды, сидя на земле, я что-то записывал, но вдруг почувствовал, как чья-то рука тянет меня за полу рубашки: это одна из женщин нашла, что проще высморкаться таким способом, чем искать небольшую, сложенную вдвое наподобие щипцов ветку, которая обычно употребляется в таких случаях» [Леви-Стросс 1984: 154] (ПВ).

Выдающийся историк Л.Н. Гумилев, ссылаясь на рассказы своего современника — австралийского аборигена по имени Вайпуданья, сообщает: «аборигены убили белого, закурившего сигарету, сочтя его духом, имеющим в теле огонь. Другого пронзили копьем за то, что он вынул из кармана часы и взглянул на солнце. Аборигены решили, что он носит в кармане солнце» [Гумилев 2004: 18] (ПВ).

Очень похожи разнообразные мистические страхи («страшилки») современных цивилизованных детей и туземцев, например связанные с привидениями. Здесь наблюдается общая для детей и первобытных людей закономерность. Во многих первобытных языках, в частности африканских, «отдаленность выражается более низким, а близость более высоким гласным звуком. ...прилагательное с низким тоном и долгой гласной обозначает большой предмет, прилагательное с высоким тоном и короткой гласной — маленький. В глаголе низкая гласная выражает пассивное состояние, высокая — активное». Так же и в современной детской «в сказочных повествованиях о великанах и страшных чудовищах или о карликах и дружелюбно расположенных эльфах, о больших, возбуждающих ужас, существах рассказывается пониженным тоном, а о крошечных, приносящих счастье, — повышенным. ...и хотя первобытные народы — не дети, в языках их сохранились следы естественного выражения чувствований все же в более живой форме, чем в большинстве языков культурных народов» [Вундт 2002: 48–49].

Неабстрактная поверхностность восприятия приводит первобытного человека к убеждению, что все события его жизни самым тесным образом увязаны с тем, что является для него наиболее важным, а потому самым заметным при восприятии и, следовательно, служащим единственным объяснением жизненных явлений (ПВ): «Не раз мы говорили о том, что рис — единственное растение, которое, с точки зрения ряда народов



Индонезии (нгаджу-даяков, батаков, отданумов), имеет такую же душу или обладает такой же жизненной силой, что и человек, и, будучи человеческим существом, воплощает в себе представление о духах предков. Вспомним также, что цикл развития риса на поле уподобляется циклу развития человека в материнском лоне, что нашло выражение в соответствующей терминологии — «рисовой» по отношению к человеку и «человеческой» по отношению к рису». Например, при приближении родов говорят: «Ваш рис созрел», а если беременность окончилась неудачей, говорят: «Рис в рассаде» [Ревуненкова 1992: 53, 34–35]. Дж.Дж. Фрэзер свидетельствует о том же: «Во время цветения риса в Амбоине жители говорят, что он готовится родить. Они не стреляют из ружей и не производят другого шума вблизи полей из боязни, как бы рис, если его потревожат, не сделал выкидыш или не разродился вместо зерна одной соломой» [Фрэзер 2003: 127]. М. Коул свидетельствует, что все его попытки оптимизировать преподавание математики представителям либерийского народа кпелле (предпринятые в 1963 году) увенчались успехом лишь после того, как обучаемым были предложены примеры с рисом — главным продуктом в рационе кпелле. Стало понятным, почему раньше ученики, усвоившие на уроке показанное учителем действие  $2 + 6$ , с возмущением сочли несправедливым действие  $3 + 5$  на том основании, что именно такой пример на уроке не рассматривался [Коул 1997: 92–96]. Объяснимо и постоянно фиксируемое М. Коулом явление немного лучшей обучаемости детей-кпелле при регулярном и продолжительном посещении ими занятий: налицо накопление жизненного опыта познания и его репродукция, запоминание в ущерб пониманию (ср. с неосмысленным употреблением союзов и чисел у цивилизованных дошкольников, глава 1). Весьма показательна в этом смысле древняя поговорка кпелле, которой М. Коул и С. Скрибнер завершают свою книгу «Культура и мышление»: «Я знаю, как нужно начать старый орнамент на холсте, но я не знаю, как нужно начать новый» [Коул, Скрибнер 1977: 246]. Это, как несложно удостовериться, противопоставленная всякому творчеству антиимпровизация, возведенная в культ.

Общеизвестно также, что первобытные люди часто отождествляют человека с его изображением или тенью (это уже СВ), которая должна быть неприкосновенна так же, как ее хозяин, и никому не сообщают свое настоящее имя, поскольку полагают, что имя есть атрибут самого человека и этому атрибуту, а следовательно — и его носителю, может быть причинен вред недоброжелателями. Впрочем, если первобытному человеку кто-то нравится, он, как свидетельствует Н.Н. Миклухо-Маклай в отношении папуасов, может предложить обмен именами:



«...меня неоднократно просили в различных деревнях поменяться именем с каким-нибудь туземцем, которого я чем-нибудь отличил» [Миклухо-Маклай 1951: 86]. Рассмотрение имени как атрибута предмета свойственно и детям (см. предыдущую главу), и даже первым философам: «На ранних этапах развития философской мысли в слове видели атрибут предмета, а не название, которым человек снабдил предмет. Жан Пиаже показал, что детское мышление именно так и трактует названия предметов — как *свойства* последних; но такова же трактовка зрелого Аристотеля — он считал слово частицей сущности предмета. Такой философский взгляд на связь слов и вещей чрезвычайно далек от современного» [Грегори 1972: 169]. В.Л. Деглин тоже обращает внимание на то, что синкретичное неразличение слова и денотата «зарегистрировано в мифах разных народов — в Библии, в исландских сагах, даже в гомеровском эпосе» [Деглин 1996: 144] («даже» в данном случае излишне, если вспомнить о том, что Гомер жил на несколько веков раньше Аристотеля, обнаружившего то же СВ). Отсутствие абстрактной лексики в значимых для европейской культурной традиции текстах Гомера приводит исследователей к мысли о неспособности великого поэта-сказителя мыслить абстрактно (см. об этом [Коул, Скрибнер 1977: 15], а также см. выше мнение В.Л. Деглина). В настоящем абзаце уместно упомянуть и магические практики «выкалывания глаз» на фотографиях либо «причинения вреда» отлитым из воска или парафина фигуркам, символизирующим конкретных людей. Дж.Дж. Фрэзер свидетельствует: «Индейцы Северной Америки верят, что, нарисовав чью-то фигуру на песке, золе или глине или приняв за человеческое тело какой-то предмет, а затем проткнув его острой палкой или нанеся ему какое-то другое повреждение, они причиняют соответствующий вред изображенному лицу» [Фрэзер 2003: 20] (ПВ).

К. Леви-Стросс свидетельствует: «бороро считают, что их человеческая форма является переходной: между формой той рыбы, чьим именем они себя называют, и формой арая, которой они заканчивают цикл своих перевоплощений» [Леви-Стросс 1984: 113]. Подобные представления, но уже вариативно разветвленные, имеются и у более цивилизованного этноса — современных хантов: «По одним данным, умерший «доживал» благодаря обратному течению времени до дня своего рождения и возвращался к живым в виде младенца; по другим — умерший превращался в медведя; по третьим — он умирал окончательно с разложением тела; по четвертым — в общество живых возвращался не сам человек, а его душа; по пятым — умирали окончательно как человек, так и его душа; по шестым — душа умершего вселялась в куклу, и т. д.» [Кулемзин 1991: 100] (любой из этих вариантов является демонстрацией ПВ).

Характерна постоянная корреляция духов, наполняющих представления первобытных людей, не с какими-то никогда не виданными существами, а с весьма определенными, то есть воспринимаемыми (раньше или сейчас), умершими предками (об этом уже говорилось выше) и окружающими животными. Посредниками в общении с такими духами являются колдуны. «Колдуном становятся по призванию, а нередко и после того, как человек заключает соглашение с членами очень сложной общности. Она состоит из злокозненных или попросту опасных духов, частично небесных (и тогда оказывающих влияние на астрономические и метеорологические явления), частично подземных, а частично относящихся к животному царству. Эти существа, число которых постоянно растет за счет душ умерших колдунов, ответственны за движение светил, за ветер, за дождь, за болезнь и смерть» [Леви-Стросс 1984: 115]. От колдунов-шаманов мало чем отличались когда-то даосские священники, которые в числе прочих действий «вели лечение больных, заговаривали и изгоняли злых духов» [Малявин 1991: 130]. Бессилием объяснить то, что неподвластно рассудку, обусловлены любые представления любой языческой религии с присущими ей неабстрактными по своей сути культом предков, анимизмом, тотемизмом, фетишизмом, магией и т. п. Индивидуальный и коллективный человеческий разум действует по принципу: «Объяснение должно быть всему, и прежде всего объяснить всё можно тем, что находится в зоне эмпирического восприятия в непосредственной близости» (ПВ). Ж. Пиаже, как говорилось выше, показывает, что непереносимое желание всему найти хоть какое-то (чаще всего поверхностное) объяснение постоянно наблюдается и у детей [Пиаже 1994: 118–121]. Человеку не просто смириться с мыслью, что он чего-то не в состоянии узнать: неведение его пугает.

Весьма примечательны откровения исследователей древних культур, уважительно именуемых «цивилизациями». «Любопытно, что содержание и предмет раннего письма, — пишет Р.Л. Грегори, — это не философия и не абстрактные размышления, а списки имущества, описания победных войн и тщательно разработанных ритуалов погребения покойников. Чрезвычайный интерес египтян к смерти был, по-видимому, продиктован не мыслями о сущности жизни, а стремлением обеспечить продолжение суеты земной на небесах» [Грегори 1972: 170]. А. Гарднер, автор «Египетской грамматики», не скрывает своего удивления: «Наиболее поразительной особенностью египетского языка на всех этапах является его конкретный реализм, сосредоточенность на материальных предметах... Оттенки мысли, заключенные в таких словах, как «возможно», «следовало бы», «едва ли», а также абстракции вроде «причи-

на», «побуждение», «долг» принадлежат более поздней стадии развития языка... Несмотря на то что греки приписывали египтянам бездну философской мудрости, египтяне, как никакой другой народ, обнаруживают отвращение к отвлеченным рассуждениям и полную погруженность в материальные интересы» (цит. по [Грегори 1972: 171]). Если вспомнить (см. выше) синкретичное восприятие Гомером, а затем и Аристотелем слова и денотата, означающее конкретность (неабстрактность) мышления, то в этом новом, достаточно неожиданном для европейского сознания свете, становится понятным, почему «греки приписывали египтянам бездну философской мудрости»: в плане абстрактности мышления «наиболее древние» греки вряд ли были развитее древних египтян и вряд ли понимали «философскую мудрость» так, как она понимается сегодня. Однако винить древних египтян и греков в материализме, меркантилизме и неабстрактности мышления было бы совершенно некорректно в силу нарушения в таком случае принципа историзма: таким, «синпрактично» мыслящим, человечество и было в древние времена — нет никакой научной возможности и такой же необходимости его идеализировать. Но в то же время приходится признать, что в плане развитости абстрактного мышления представители древних цивилизаций не настолько отличаются от представителей современных первобытных народов, чтобы не применять к их логическому мышлению и грамматикам термин «первобытные» (внутренняя форма слова *первобытный* такое применение допускает).

В фантастической повести А. и Б. Стругацких «Обитаемый остров» жители планеты Саракш полагают, что живут внутри огромной сферы, так как из-за сильной рефракции атмосферы и ее высокой плотности они не могут видеть звезды, зато эмпирически (зрительно) убеждаются в том, что уплывающий вдаль корабль постепенно поднимается вверх, растворяясь в воздухе [Стругацкий А., Стругацкий Б. 1992: 66–67] (это ПВ «зеркально» ПВ Земли как полусферы, покоящейся на слонах и/или китах). Жители вымышленного писателями Саракша нашли объяснение эмпирически достоверному явлению эмпирически правдоподобной — по перцептивному закону близости — причиной. Гораздо сложнее найти объяснение, когда причина, лежащая на поверхности, не выдерживает испытания-проверки чувственным опытом восприятия, а причина истинная неизвестна.

Крупнейший фольклорист В.Я. Пропп обращает внимание на отражение первобытного мышления в сказках. Говоря о различных первобытных табу, автор замечает: «Из всех видов запретов, которыми пытались защитить себя от демонов, являющихся в сказке в форме змеев, воронов, козлов, чертей, духов, вихря, кощя, яги, и похищающих женщин, деву-

шек и детей, — из всех этих видов запрета лучше всего в сказке отражен запрет покидать дом» [Пропп 1986: 44]. Это еще одно доказательство того, что первобытным человеком мистифицировалось все представляющее собой непознанную опасность и воплощенное в неприятных явлениях — реально-предметных (*вороны, козлы, вихрь*) или вымышленных, но ясно себе представляемых (*воздушные змеи, черти, духи, кощей, яга*). Несложно убедиться: каждый из этих образов — результат ПВ.

Как можно видеть, все эти примеры демонстрируют количественное, а не качественное различие между мировоззрениями первобытным и цивилизованным, и «количество» этого различия прямо пропорционально возможностям восприятия. Известный этнограф и психолог Л. Леви-Брюль всю свою жизнь настаивал на том, что указанное различие — качественное, что мышление первобытного человека имеет все основания существовать параллельно с нашим, что оно не алогично и не антилогично, а «пра-логично» и мистично. «Оно совершенно иначе ориентировано. Его процессы протекают абсолютно иным путем. Там, где мы ищем вторичные причины, пытаемся найти устойчивые предшествующие моменты (антецеденты), первобытное мышление обращает внимание исключительно на мистические причины, действие которых оно чувствует повсюду. Оно без всяких затруднений допускает, что одно и то же существо может одновременно пребывать в двух или нескольких местах. Оно подчинено закону партиципации (сопричастности), оно в этих случаях обнаруживает полное безразличие к противоречиям, которых не терпит наш разум. Вот почему позволительно называть это мышление, при сравнении с нашим, пра-логическим» [Леви-Брюль 1994: 8]. Однако упомянутые «сопричастность» и «полное безразличие к противоречиям» являются доказательством СВ, о чем свидетельствуют и примеры, приводимые Л. Леви-Брюлем: «В Ландане засуха была однажды приписана специально тому обстоятельству, что миссионеры во время богослужения надевали особый головной убор. Туземцы говорили, что это мешает падению дождя: они принялись громко кричать и требовать, чтобы миссионеры оставили страну». Представляет исследователь и такие факты: туземцы сочли, что причиной засухи являются сутаны священников; портрет королевы Виктории был обвинен в эпидемии плеврита; увидев падающую с дерева змею, а на следующий день узнав о смерти сына, жившего очень далеко от этого места, человек тут же увязал одно событие с другим: воспринял падающую змею как знак смерти сына; увидев изображение птицы в виде тени на стене, показанное ученым, и очень удачно сходяв на охоту на следующий день, туземцы затем всякий раз просили ученого показывать эту птицу накануне охоты; туземец, неудачно сходивший на охоту или рыбалку, возвращаясь домой и ломая голову

над тем, кто околдовал его лук и сети, видит случайно проходящего мимо него соплеменника и тут же решает, что колдовство применил именно этот соплеменник; «кафры пондо верят, что если у кого-то скот мрет от эпизоотии, то это происходит потому, что какая-нибудь враждебно настроенная личность обложила крааль колдовскими средствами, дабы погубить скот. Если у кого-то плохой урожай, то это произошло потому, что кто-нибудь из соседей ему завидует и портит поле неким могущественным снадобьем. Если в хижину туземца ударила молния, то это означает, что какой-нибудь враг хочет от него избавиться» [Там же: 58–59, 488].

Врагом первобытного человека, применившим колдовство, как мы видели, может оказаться первый встречный. Представления об одном и том же явлении у разных народов могут быть абсолютно, непредсказуемо разными. Это свидетельства незафиксированности, «блуждания взора», наблюдаемого и у детей (см. предыдущую главу). Древнейший обычай принесения в жертву духам случайного человека — члена социума (если под рукой не оказывалось пленника) только ради того, чтобы духи были добры ко всем членам этого первобытного социума, в диахронии постепенно исчезает, но иногда просто «смягчается»: например, «жертва привязывается к жертвенному столбу вместе с буйволом. Все танцуют вокруг под барабанный бой, плюют на жертву, перенося тем самым на нее свои изъяны. После этого жертву освобождают и она спасается, но живет потом не более месяца, поскольку все убегают от нее и не дают еду. Смерть этого человека считается знаком принятия жертвы» [Реву-ненкова 1992: 21] (ПВ).

При таком понимании сверхъестественного-мистического становится ясно, что первобытное мышление представляет собой не качественно иной тип мышления, постулируемый Л. Леви-Брюлем, а как раз количественно другое (фиксируемое всеми его научными предшественниками и последователями) отличие от логического мышления современного человека, познавшего то, что человек первобытный объясняет мистически. (Для обозначения качественного отличия и термин «пра-логическое» не вполне удачен, ибо *пра-* указывает на отдаленность во времени, которая тоже может пониматься количественно: *пралогическое* понимается скорее как 'не вполне логическое, не достигшее уровня развития современной логики', нежели как 'не имеющее ничего общего с современной логикой'.)

Итак, взрослые первобытные люди при объяснении непонятных явлений демонстрируют ПВ, но никак не СВ. У исследователей мало данных о первобытных детях, которые, как и дети цивилизованные, вряд ли могут не проявлять вначале СВ, а затем ПВ, но не более высокие степени восприятия АИВ или АДВ, ибо их родители такой уровень вос-

приятия тоже не демонстрируют. Выдающегося «детского этнографа» М. Мид очень интересовал резонный вопрос: если мышление первобытных взрослых аналогично мышлению цивилизованных детей, то чем мышление первобытных детей отличается от мышления первобытных взрослых? Чтобы найти на него ответ, М. Мид собрала 35 000 рисунков, выполненных первобытными детьми, и «обнаружила вопреки всем ожиданиям, что «примитивные дети» не проявляют ни малейшего следа естественного анимизма наших детей, рисующих на луне человека, а дома с лицами» [Мид 1988: 35]. Рисунки этих детей ничем не отличались от рисунков первобытных взрослых: они были ясно-реалистичными, или натуралистичными. Через 25 лет М. Мид попросила тех же (теперь уже бывших) детей порисовать и убедилась в том, что рисунки их были такими же, как четверть века назад [Там же: 37]. Вряд ли полученные выводы можно считать удивительными, если помнить о том, что мировоззрение первобытных детей формируется в среде взрослых, не демонстрирующих прогресса восприятия окружающей действительности (особенностям воспитания детей в первобытном обществе посвящены все научные сочинения М. Мид). Что же касается неизменной реалистичности описываемых автором рисунков, то она вполне объяснима общепризнанной идеей эволюции человеческого искусства от натурализма к условности (см., например, [Мириманов 1997]). Очевидно, что испытуемые М. Мид находились именно на ранней, натуралистической, стадии развития изобразительного искусства, на которой нерасчлененность образов, формируемых «правым мозгом», еще не позволяет изменять структурные части этих образов, то есть фантазировать. О связи творческого процесса с функциональной асимметрией полушарий мозга — см. книгу известного нейropsychолога и нейролингвиста Н.Н. Николаенко [Николаенко 2005].

Подтверждением сходства детского и первобытного восприятия, а именно ПВ, является восприятие числа, которое, как было сказано в предыдущей главе, является наиболее абстрактным из всех человеческих понятий. Счет у примитивных народов, как и у детей, всегда опосредован конкретными предметами [Леонтьев А.А. 1984: 17–19]. «Любой человек знал, что на небе Луна одна, у человека два глаза и на руке пять пальцев» [История математики: 9]. Но это не означает, что для числа 5 сразу находилась отдельная, самобытная номинация — первобытный человек обходился двумя-тремя. Голландский математик и историк науки Д.Я. Стройк дает следующие примеры счета некоторых австралийских племен (зафиксированные более века назад): «Племя реки Муррей: 1 = энза, 2 = петчевал, 3 = петчевал-энза, 4 = петчевал-петчевал. Камиларои: 1 = мал, 2 = булан, 3 = гулиба, 4 = булан-булан, 5 = булан-гулиба,

6 = гулиба-гулиба» [Стройк 1990: 23]. То есть племя реки Муррей обходилось двумя числительными (1 и 2) и дальше четырех считать не умело, в то время как племя камиларои прогрессировало в счете до шести, обходясь уже тремя числительными: 1, 2 и 3. Двоичная система счисления существует в языке одного из племен островов Торрессова пролива: «1 — урапун, 2 — окоза, 3 — окоза-урапун, 4 — окоза-окоза, 5 — окоза-окоза-урапун, 6 — окоза-окоза-окоза и т. д.». Восточноафриканские носители суахили, не выработав свои или утратив их, заимствовали из арабского языка названия для чисел 6, 7 и 9. «В некоторых языках числительные сохраняют следы пятеричной системы, в этих языках пальцы второй руки называются так же, как пальцы первой с прибавлением слова, обозначающего 5 пальцев или руку» (это наблюдается в древних — шумерском и ацтекском — языках) [История математики... 1970: 11–12]. То есть системы счисления, применяемые в настоящее время первобытными народами, не намного прогрессивнее детского счета при помощи пальцев или счетных палочек: «Счет путем специальных слов-числительных — это не то, что счет по пальцам. У целого ряда народов мира есть очень развитая система конкретного счета, но в то же время у них мало числительных, т. е. мало отвлеченных названий чисел. Развитие системы абстрактных чисел свидетельствует о степени развития абстракции в мышлении людей» [Иванов 1983: 327]. Тем не менее счет у первобытных людей не исключал и пальцы как счетные палочки: «Счет на пальцах у всех первобытных народов предшествует числительным устного языка, что отражается и в происхождении самих числительных. Во многих языках, например в африканских (зулусский и другие языки банту), числительные обозначают только действия над пальцами рук. Языки могут различаться лишь конкретными операциями счета: «семь» может означать или «согни два пальца» (на второй руке):  $7 = 5 + 2$ , или «согни в обратную сторону 3 пальца»:  $7 = 10 - 3$ » [Иванов Вяч.Вс. 1978: 65].

Очень характерна для первобытного счета его привязанность к самой возможности существования того или иного количества определенных предметов (ПВ). Так, туземец, обучаемый европейскому языку, отказался переводить фразу *Белый человек убил шесть медведей* на том основании, что, по его убеждению, белый человек не может убить шесть медведей [Выготский, Лурия 1993: 98] (как известно, подобные отказы демонстрируют афатики, например когда их просят сказать, что на улице плохая погода, если на самом деле она хорошая). Туземец, считавший воображаемых свиней, дошел до 60-ти и остановился, заявив, что дальше считать нельзя, поскольку больше 60 свиней в их деревне ни у кого нет [Там же]. «Прогресс языка в истории человечества будет нам особенно



нагляден, если сравним язык каких-нибудь дикарей, иногда не имеющих даже особых названий для чисел дальше четырех или пяти, с литературным языком народов, достигших высокой степени развития», — категорично считал в свое время В.А. Богородицкий [Богородицкий 1964: 297].

Следующим этапом обозначения чисел было их иероглифическое изображение: «Подобно тому, как счет на пальцах долго сохраняется в качестве пережитка «ручных понятий», сочетающегося со звуковым языком, обозначение чисел письменными знаками-иероглифами (наряду с фонетической их записью числительными естественного языка) остается как пережиток в современных письменных европейских языках, — пишет Вяч.Вс. Иванов. — Когда мы записываем «три» как 3 или III, проявляется особый характер обозначений чисел, тяготеющих к иероглифам (и тем самым к сфере влияния правого полушария; к ней, вероятно, относились когда-то и жесты, из которых позднее развился пальцевый счет, перешедший в число операций, находящихся в ведении левого полушария)» [Иванов Вяч.Вс. 1978: 67]. Даже на заре математики как науки ее разработчики — пифагорейцы мистифицировали открытые ими числа, связывая каждое число с определенным явлением (ПВ): например, единица — священная монада, мать всех богов, священное начало; десятка — священная декада, образ вселенной, состоящей из десяти небесных сфер с десятью светилами [История философии 1957: 82–85; История математики... 1970: 66–72]. В Древней Индии «единица называлась Луной, Землей, Брахмой, два — близнецами, глазами, руками, пять — чувствами, стрелами бога любви Камадевы, шесть — запахами, семь — горами, восемь — богами и т. д.» [История математики... 1970: 10]. Современные нивхи делают нечто похожее: опредмечивают свои количественные числительные. В нивхском языке для одного и того же числа имеются разные обозначения, соответствующие определенной общности предметов: например, «5 лодок» — одно слово, «5 нарт» — другое слово, «5 неводов» — третье слово, «5 прутьев с нанизанной на них корюшкой» — четвертое слово и т. д. [Леонтьев А.А. 1963: 109]. В языке индейцев хопи, описанном Б.Л. Уорфом, тоже нет абстрактных числительных — есть опредмеченные числительные: «Множественное число и количественные числительные употребляются только для обозначения тех предметов, которые образуют или могут образовать реальную группу» [Уорф 1960<sup>1</sup>: 142].

В предыдущей главе мы привели слова А.А. Потемби о синкретичном восприятии ребенком окружающей действительности, в том числе языковых явлений. Но знаменитый ученый — предвестник психолингвистики проводит в этом смысле аналогию с языками древних народов (или древних предков современных народов), в которых запечатлена та

же синкретичность восприятия: «Древние языки, по крайней мере индоевропейские, имеют только три основные гласные (а, и, у) и уже относительно поздно вырабатывают те неуловимые для непривычного слуха средние звуки, какие встречаем во многих новых языках. Это зависит не от невозможности принудить органы произнести эти звуки, а от того, что они не замечались, хотя и могли случайно встречаться в говоре» [Потебня 2007: 67]. В той же главе мы приводили мнения С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурии и Х. Би о синкретичной связанности еще не очень развитой речи ребенка с практической ситуацией, в которой он находится, но А.Р. Лурия видит прямую связь этой детской особенности с происхождением слова в плоттогенезе: «Есть все основания думать, что слово как знак, обозначающий предмет, возникло из труда, из предметного действия... Можно думать, что слово, которое родилось из труда и трудового общения на первых этапах истории, было вплетено в практику; изолированно от практики оно еще не имело твердого самостоятельного существования. Иначе говоря, на начальных этапах развития языка слово носило симпрактический характер. ...значение ... слова менялось в зависимости от ситуации и становилось понятным только из жеста (в частности, указательного жеста, направленного на предмет), из интонации и всей ситуации. Вот почему первичное слово, по-видимому, имело лишь неустойчивое диффузное значение, которое приобретало свою определенность лишь из симпрактического контекста. ...речь некоторых народов, стоящих на низком уровне культурного развития, трудно понять без знания ситуации, в которой эта речь произносится. ...Только на следующем этапе слово начинает отрываться от действия и постепенно приобретать самостоятельность. Этот процесс мы не можем проследить в истории общества и можем лишь догадываться о нем, у ребенка же он прослеживается со всей отчетливостью» [Лурия 1998: 33–34, 37].

Отмеченное в предыдущей главе «блуждание взора» ребенка в процессе восприятия им окружающей действительности вполне соответствует идее случайности лексической номинации по признаку, представляющему внутреннюю форму. На эту случайность два века назад обращал внимание И.С. Рижский: «Представим себе, что несколько человек смотрят в одно время на один огромный предмет. Поелику никто из них не в состоянии объять его всем своим взором, то один видит только одну, другой другую, и так далее, притом иной самую важную, иной, напротив, малозначащую его часть. Подобно сему первоначально действует на умы разных народов всякий предмет» [Рижский 1973: 37] (ПВ).

Неразвитое, как и у современных детей, абстрактное мышление древних людей не могло не отражаться и в грамматиках их языков. По мнению А.А. Леонтьева, «первое предложение (словопредложение) было,

по-видимому, сочетанием неоформленных основ (или корней). ...первое слово (слово-звук), имевшее, как мы знаем, нерасчлененное значение и приложимое как к действию, так и к предмету, тоже было «чистой основой», т. е. было морфологически нерасчлененным» [Леонтьев А.А. 1963: 106] (ср. абсолютную идентичность таких «словопредложений» и описанных в предыдущем параграфе детских холофраз, демонстрирующих СВ). По наблюдениям А. Мейе, в индоевропейском языке «грамматические категории не имеют каждая своего особого выражения» [Мейе 2002: 207]. Очевидно, что такое заключение выглядит некоторым преувеличением. Корректнее было бы признать, что в индоевропейском не имели выражения какие-то современные грамматические категории, но определенные значения уже имели свои формы. Так, известно, что показатели номинатива на *-os* и аккузатива на *-ot* были первоначальными маркерами соответственно активного и инактивного классов именных индоевропейских образований. Но, что характерно, активный класс таких имен синкретично включал не только традиционно признаваемые одушевленными имена, но и традиционно неодушевленные названия представителей растительного мира, а также названия объектов, «которые мыслятся носителями языка как выразители активного начала, наделенные способностью к активной деятельности. К таким именам ... принадлежат названия подвижных или наделенных способностью к активной деятельности частей человеческого тела: *рука, нога, глаз, зуб* и другие, а также названия персонифицированных, активно мыслимых явлений природы и абстрактных понятий: *ветер, гроза, молния, осень, вода, река; рок, судьба, доля, благо* и др.» [Гамкрелидзе, Иванов Вяч.Вс. 1984: 271–274]. Трудно не усомниться лишь в абстрактности четырех последних понятий за несколько тысяч лет до н. э., ведь известно, что у древних египтян за одну — три тысячи лет до н. э. и у «наиболее древних» греков за несколько сотен лет до н. э. (см. выше) абстрактных понятий еще не было; как известно, рок, судьба, доля и благо были для индоевропейцев вполне олицетворенными если не живыми существами, как при первобытном анимизме, то, по крайней мере, силами окружающей действительности, совершенно человеку неподвластными, но жизнью его управляющими, — ср. с современными русскоязычными примерами типа *Судьба меня настигнет; Удача повернулась ко мне лицом* (или *спиной*, или *отвернулась от меня*); *Меня преследует злой рок* и т. п. О древнейших представлениях и постепенно абстрагирующемся развитии представлений о судьбе — см. [Потебня 1865; Горан 1990].

И.И. Срезневский в знаменитом докладе «Мысли об истории русского языка» раскрывает такую панораму развития языка, отражающую СВ: «Язык в первом собрании своем есть собрание звуков без всякого вну-

тренного строя. Немного звуков, немного и слов, образованных из них, гораздо менее чем представлений, которые бы могли быть ими выражены. Каждое слово стоит в языке отдельно; каждое слово есть само себе корень, несродный с другими. Слова коротки и не подлежат изменению. Порядок их во фразах случаен. Темно, неопределенно, безотчетно выражает язык жизнь и мысль народа, столь же темную, неопределенную, безотчетную. Одно и то же слово есть вместе с тем и название предмета, и действия его, и качества, и впечатления, ими производимого в уме, точно так же, как и в уме народа все это остается неотделенным» [Срезневский 1959: 18]. Эти мысли вполне коррелируют с соображениями его современника Я. Гримма о древнем состоянии языка: «Все слова кратки, односложны, образованы почти исключительно с помощью кратких гласных и простых согласных; слова теснятся густой толпой, как стебли травы. Все понятия возникают из чувственно ясного созерцания, которое уже само было мыслью и от которого во все стороны распространялись элементарные новые мысли. ... С каждым своим шагом общительный язык развертывает свое богатство и способности, но в целом он производит впечатление лишенного меры и стройности» [Гримм 1964: 65–66].

В предыдущей главе мы привели свидетельства Ж. Пиаже и Л.С. Выготского об отсутствии у дошкольников понимания значений подчинительных союзов, но ту же особенность Л.П. Якубинский фиксирует в древнерусском языке, в котором сложноподчиненное предложение «еще не обладает развитой и дифференцированной системой подчинительных союзов... Это выражается, в частности, в многозначности подчинительных союзов в древнерусском». Например, «древнерусское *яко* соответствует современным *что, так что, потому что, как, чтобы, когда*. ...Эта многозначность характерна для любого раннего литературного языка» [Якубинский 1953: 266–267] (это своего рода синтаксические холофразы, довольствующиеся СВ). Как видим, синкретичность древней грамматики полностью соответствует синкретичности мышления ее носителей и идентична синкретичности детской. Об этом соответствии прямо говорит С.Д. Кацнельсон: «Древнейшая стадия в развитии речевого мышления определяется появлением первых синкретичных слов-предложений, во многом аналогичных холофрастическим образованиям зарождающейся детской речи» [Кацнельсон 2001: 527].

Современные первобытные языки тоже характеризуются погруженностью в конкретную ситуацию, в которой пребывает описываемый предмет, при ПВ. Лишь постепенно в первобытных языках вырабатываются отвлеченные представления о конкретно воспринимаемых предметах. Так, по свидетельству Ф. Боаса, в эскимосском языке есть лишь кон-

кретные, однословные — синкретично спаянные с глаголами — названия снега как снега, лежащего на земле, снега падающего, снега, уносимого ветром, и снега в виде сугробов (ПВ), однако наряду с названиями тюленя как тюленя, греющегося на солнце, тюленя, плывущего на льдине, и многими другими названиями тюленей в соответствии с их возрастными и половыми признаками, уже существует и обобщенное название тюленя [Боас 1965: 171–172]. Н.Н. Миклухо-Маклай сетовал на трудности постижения языка папуасов: «Один и тот же предмет назывался различными лицами различно, и я часто по неделям не знал, какое выражение правильно. Сообщу здесь пример того, что со мною частенько случалось. Я взял однажды лист в надежде узнать название листа вообще. Туземец сказал мне слово, которое я записал; другой папуас, которому я предложил тот же вопрос и показал тот же лист, сказал другое название; третий, в свою очередь, — третье, четвертый и пятый называли предмет опять другими и различными словами. Все названия записывались, но какое было настоящее название листа? Постепенно я узнал, что сказанное сперва слово было названием растения, которому принадлежал лист; второе название означало «зеленый», третье «грязь», «негодное», потому ли, что я, быть может, поднял лист с земли, или потому, что лист был взят с растения, которое папуасы ни на что не употребляют. Так случилось со многими, очень многими словами» [Миклухо-Маклай 1940: 241–242]. Этот рассказ свидетельствует о том, что каждый из папуасов воспринимал в листе один из множества признаков той нерасчлененной ситуации, частью которой был этот лист, при невозможности воспринять этот лист абстрактно, в отрыве от данной ситуации. Из рассказа так и не понятно, имелось ли в языке папуасов отдельное слово, обозначающее лист, но для характеристики описанной ситуации как синкретично или поверхностно воспринимаемой (на переходе от СВ к ПВ) сказанного достаточно при любом ответе на этот вопрос.

Известно, что в языках наблюдается 3 типа ориентации в пространстве: ориентации эгоцентричная, географическая и ландшафтная. «Эгоцентричность означает, что все предметы ориентируются относительно говорящего. Так, мы, например, говорим «справа от меня», «впереди меня». <...> Кроме русского языка к «эгоцентричным» относятся английский, немецкий, французский, да и все широко распространенные языки. <...> При географической ориентации говорящий располагает все предметы по сторонам света: север, юг, восток и запад, а при ландшафтной ориентирами выступают наиболее заметные элементы ландшафта: гора, море или же вершина/подножие холма. Интересно, что даже для маленьких объектов и малых расстояний всё равно используются такие

крупные ориентиры (например, *к югу от пальца* или *к морю от носа*)». Географическая ориентация наблюдается, к примеру, в гуугу йимитхирр, языке австралийских аборигенов, а ландшафтная — в цельтальском языке современных индейцев майя (штат Чьяпас, Мексика) [Бурас, Кронгауз 2011]. В свете уже сказанного в настоящей монографии становится очевидным, что слова *справа, слева, впереди, слева наискосок* и им подобные, имеющиеся во «всех широко распространенных языках» (то есть языках не первобытных), являются абстрактными пространственными обозначениями. Под каждое из них подводится любой конкретный предмет, в том числе *юг* и *гора* (слова, свидетельствующие соответственно о географической и ландшафтной ориентациях): *юг справа от меня, гора сзади*. Из этого следует, что эгоцентричная ориентация является показателем развитости абстрактного мышления, а географическая и ландшафтная ориентации — мышления, опирающегося на конкретные данные ПВ (хотя, конечно, с разными степенями абстрактности — об этом немного ниже). С одной стороны, «приверженность» языка к тому или иному из двух последних типов ориентации, очевидно, может быть объяснена возможностями восприятия. На севере австралийского штата Квинсленд, то есть на полуострове Кейп-Йорк, где проживают упомянутые аборигены, ориентирующиеся не по ландшафту, а по сторонам света, в основном отсутствуют горы (в западной части полуострова их нет вовсе), в то время как море окружает их полуостров с трех сторон, в силу чего не может служить однозначным ориентиром. В мексиканском же штате Чьяпас горы разделены влажными долинами, в которых и проживают майя, говорящие на цельтальском с присущей ему ландшафтной ориентацией. С другой стороны, несложно заметить, что названия сторон света «абстрактнее» названий фрагментов ландшафта: конкретная *гора*, которую несложно видеть, может находиться на достаточно абстрактном *юге*, увидеть который как таковой невозможно. Поэтому вероятно и то, что изначально ландшафтная ориентация описываемых квинслендских аборигенов прогрессировала до ориентации географической. И тогда можно предположить, что у носителей цельтальского языка закономерно не сложилась потребность в абстрагировании от весьма заметных ориентиров гористо-равнинной местности штата Чьяпас.

Еще одной особенностью первобытного языка является синтагматическое многословие на уровне одного предложения: «там, где европеец тратит одно-два слова, примитивный человек тратит иногда десять. Так, например, фраза «Человек убил кролика» на языке индейцев племени понка буквально передается так: «Человек он один живой стоящий убил нарочно пустить стрелу кролика его одного живого сидящего». ... Для

того чтобы сообщить простую мысль, что человек убил кролика, индеец должен со всеми подробностями нарисовать в мельчайших деталях всю картину этого происшествия. Поэтому слова примитивного человека еще не дифференцированы от вещей, они еще тесно связаны с непосредственным чувственным впечатлением» [Выготский, Лурия 1993: 97–98] (каждое слово демонстрирует ПВ, а ситуация в целом — СВ). Кроме того, в первобытных языках наблюдается синкретичное неразличение частей речи с ярко выраженной неопределенностью (абстрактностью) глагольной семантики, конкретизируемой уточнителями. Так, Ф. Боас свидетельствует по поводу языка североамериканских индейцев цимшианов: «В языке цимшей мы обнаруживаем очень большое количество адвербиальных элементов, ... которые без всякого сомнения следует рассматривать в качестве элементов, модифицирующих глагольные понятия» [Боас 1965: 179] (спаянность с глаголами, но не наречий, а имен, ученый наблюдал и в эскимосском языке — см. выше). Б.Л. Уорф говорит о том же: «В языке хопи «молния», «волна», «пламя», «метеор», «клуб дыма», «пульсация» — глаголы. ... в языке нутка (о-в Ванкувер) все слова показались бы нам глаголами, ...; перед нами монистический взгляд на природу, который порождает только один класс слов для всех видов явлений» [Уорф 1960: 177]. Вяч.Вс. Иванов сообщает о «глагольности существительных» во всех американских индейских языках, приводя следующий пример: «Индеец, учивший меня ирокезскому языку онондага, отказывался перевести на него с английского языка слово tree ‘дерево’, говоря, что морф со сходным значением есть только в составе глагольной формы» [Иванов ВячВс 2004: 52]. Аналогичные данные приводит Э. Поули в отношении папуасского языка калам: в нем всего 95 глаголов, из которых активно употребляется только 25, вследствие чего недостаточное количество каламских глаголов при обозначении большого количества действий и состояний вынужденно компенсируется огромным количеством глагольных словосочетаний, то есть сочетаний глаголов с уточнителями отсутствующей у глаголов семантики [Pawley 1991]. Показанные Ф. Боасом, Н.Н. Миклухо-Маклаем, Л.С. Выготским и А.Р. Лурией, Б.Л. Уорфом, Вяч.Вс. Ивановым, Э. Поули явления являются ярким подтверждением действия механизма мышления, названного А.А. Леонтьевым синпрактическим, то есть мышления, тесно связанного с практикой (ПВ) и часто основывающегося на данных недифференцирующего восприятия (СВ).

Таким образом, первобытное восприятие демонстрирует те же синкретизм и (гораздо чаще) поверхностность, которые в течение первых лет жизни имеются у цивилизованных детей, но никогда не демонстри-



рует альтернативное восприятие (АИВ и АДВ), поскольку оно требует абстрактности мышления, которой первобытные (и древние) люди не обладают. Примечательно, что постоянно фиксируемое разными исследователями конкретное (синпрактическое) мышление, представленное у первобытного человека во всем многообразии, обусловленном разнообразием его практики, является следствием второй степени восприятия — ПВ, и в дальнейшем восприятие первобытного человека почти не прогрессирует, что и позволяет нам называть синкретизм и поверхностность первобытного восприятия предельными его степенями. Единственным, но очень серьезным препятствием для прогресса первобытного восприятия является социальная среда, состоящая из индивидов (мы имеем в виду старшее поколение), хранящих и передающих опыт поколению молодому, индивидов с одним, почти не преодолевающим поверхностность (ориентацию на ближайший признак) уровнем восприятия. Абсолютную аналогию восприятия можно наблюдать в строении первобытных (древних) языков. В целом подтверждается высказанная нами в части «Вместо введения» мысль, что прогресс языка может отставать от прогресса культуры его носителей, но наоборот — так, чтобы культурное развитие отставало от развития языка, — не случается никогда. Судя по всему, это не лишенный логики аргумент в пользу обусловленности языка мышлением, а не мышления языком, как это предлагается в гипотезе лингвистической относительности, или гипотезе Сэпира — Уорфа (к которой мы еще обратимся в следующей главе).

Очевидна корреляция синкретизма восприятия детского и первобытного (древнего), идентичного, а иногда и уступающего (при свойственном СВ гештальтном неразличении) интересующим нас примерам *мой отец с матерью и изучалась математика и химия*, согласование в которых происходит в соответствии с механизмом ПВ.

Важно признавать, что стадию первобытного мышления в свое время проходили все ныне цивилизованные этносы. Логично допустить, что не все из них избавились от первобытных особенностей сознания до конца, как не все языки избавились до конца от рудиментов первобытных своих состояний, которые можно видеть в ныне существующих языках первобытных народов.

Считаем закономерной постановку вопроса о рудиментах синкретичного и поверхностного восприятия, а следовательно логического мышления и грамматических установок, у относительно недавних предков современного цивилизованного взрослого и у него самого.